



**ВИКТОР КОНЯЕВ**



## **Отец, не уходи!**

РАССКАЗ ИЗ ПОВЕСТВОВАНИЯ

...Кривой, коленчатый проулок, обозначенный жердями и щелястым горбылём, бросался Витальке в колени крапивой, в лицо лопухами, то дыбился горбом, то исчезал из-под детских ножек. Он падал и вскакивал, снова падал и тут же опять вскакивал. Бежать, бежать, быстрее, быстрее!.. Заполненное сердчишко выпорхнуло из груди, мельтешило впереди, тянуло за собой. Он не видел ни мать, ни старшего брата, он ощущал только ужас, метавшийся сзади и норотивший хряснуть доской, что была в руках пьяного отца. Добежать бы до дяди Стёпы, отцова брата — там спасение. Повзрослев, Виталья уже не помнил окончание тогдашнего кошмара, но этот лоскуток самого раннего памяттява до того крепко отложился где-то в глубинах его существа, что потом много лет всплывал временами тяжкими снами с неизбежным сюжетом погони и ужаса.

---

КОНЯЕВ Виктор Федорович — прозаик, публицист. Родился в 1952 г. в Новокузнецке. Учился в Томском университете, а также на литературном факультете Новокузнецкого педагогического института. Работал на шахте, свыше пятнадцати лет трудился газосварщиком на Западно-Сибирском металлургическом комбинате. Имеет публикации в журнале «Огни Кузбасса», газете «Кузнецкий рабочий» и других периодических изданиях. Автор пяти книг прозы, в которые вошли повести, рассказы, очерки. Член Союза писателей России с 2015 г. За сборник рассказов «Глаза, распахнутые в жизнь» награжден медалью «За веру и добро». Живет в Новокузнецке.

Отца своего Виталька любил сильно-сильно. Бывало, встречал с работы далеко от дома. Как животные точно определяют время, так и он в свои три года интуитивно чувствовал, что отец уже поднимается в гору, и бежал ему навстречу. Отец всегда нёс сыновьям гостинцы, чаще всего прочего конфеты-подушечки. Дорога от шахты до их улицы Подгорной неблизкая, да всё в гору. Конфеты в кармане отцовых брюк стаивались с кулком в сладкий липучий комок, но как радостно было идти рядом с усталым папкой и мять молодыми зубками конфетно-бумажную мешанину! Эти встречи частично всплывали смутно-колеблюще на самой границе памяти и пустоты; что-то было рассказано матерью. Последняя картинка из раннего детства, где ещё был отец, отчеканилась в детской головке пожизненно, лишь чуть расплываясь в мираже лет.

...Знойный июль тысяча девятьсот пятьдесят пятого года. Он сидит на телеге с высокими бортами, в головах гроба. В гробу отец. Где мать, где брат — опять не отпечатлелось. Лицо папки, и при жизни сухощавое, стало аскетичным. Это уже отсюда, с холма годов, так Виталья расшифровал детское восприятие, а тогда ему, скорее всего, казалось, что отец похудел. На лбу бумажка с узорами. У Виталика в руках мороженое. Для детей окраин лакомство нечастое, наверное, и дали-то, чтобы не плакал. Жарко, мороженое тает. Он взрослым силятся вспомнить, какое было мороженое, но не проникает взгляд за завесу времени... Подходят люди, что-то говорят, многие плачут. Он не ревет, а ведь умёнком детским соображает: что-то здесь необычно — и люди плачут, и папа лежит недвижно. Тревогой донесло из далёкого того дня в его взрослость, но трагедией стало уже при седине в волосах, когда годы прожитые даруют человеку истинное постижение родителей.

Причина смерти папы так и осталась для Виталия всю жизнь не прояснённой. По достижении возраста отца он твердо понял, что это к лучшему.

Доносило слухи с ядовитым туманом, якобы мать убила отца в горячке, в ссоре. А однажды произошёл прескверный случай. Наверное, Виталья учился классе в девятом. Были гости — подруга молодости матери, тётя Капа, с мужем. Застолье с песнями текло спокойно. Виталик в другой комнате их барачной квартиры занимался своими делами, и вдруг, ах, это вечное вдруг... Действительно, вдруг из почти не воспринимаемого им хмельного разговора выломилась фраза тётки Капиного мужа, ударила болью в голову, зашумела кровью в ушах: «Марья, скажи честно, ты ведь убила мужика своего, Фёдора». Что ответила мать, как тётя Капа увела разговор с опасной стёжки, он уже не слышал, не воспринимал. Такой обиды Виталик ещё не испытывал. Это оскорбление не его, даже не матери, это унижение покойного отца, памяти его. Такое простить — себя не уважать. Дальше он действовал спокойно и хладнокровно, на каком-то автопилоте. Тихонько собрался, вышел, отошёл от барака и сел на лавочку в сторонке. Гости вышли нескоро. На крыльчке тётя Капа отчитывала мужа, невысокого корявого мужичка, мелкого начальника, но с большим гонором. Слов было не разобрать, однако явно разругались. Пошли врозь. Виталий догнал мужика на железнодорожных путях. Молча развернул к себе и бил молча, тот не сопротивлялся, молча же упал. У Виталия кровь отхлынула от ушей, стихла боль. Не шибкий любитель он драться, но и через многие годы считал свой поступок правильным. Муж тётки Капы (имя так и не вспомнилось) никому ничего не рассказал.

Да вот червячок сомненья или подозренья всё же покусывал где-то внутри. А вдруг? Вечерами Виталий читал лёжа при настольной лампе, мать готовила ужин,

незаметно закрутился разговор. Матушка подседа к сыну на краешек кровати, Виталий отложил книгу. Разговор получался душевный, обо всём. Вот тут он и попросил: «Мама, расскажи мне, как отец умер».

До этого на расспросы Мария Васильевна отвечала уклончиво, неполно. И нынче, хоть и не дрогнуло ничего в лице её, рассказывала сухо, явно тяготясь. Выходило так. Тем душным июльским вечером отец пришёл из города пьяный, его видели на улице, мать предупредили, и она с ним и с братом Колей ушла к дяде Стёпе с тётей Аней. Дверь в сени осталась незаперта, отец из сеней пытался открыть другую, в избу, закрытую на замок. Неровный пол, в сенях кирпичная, обрамлённая по верхнему периметру стальным уголком, печь, неустойчивость хмельного человека — всё сошлось в смертной точке. До утра Фёдор Иванович пролежал в сенях с проломленной головой, умер в больнице от большой кровопотери...

Поздно уже было, Виталия лёг спать, лежал, думал, а в некоем отсеке мозга, или сусеке памяти, засветилась точка, что-то обжигала, ворошила, тревожила, заставляла напрячь её, память. Точка разрасталась, вспухала, и развернулась в отчётливое изображение при закрытых глазах, оттуда же, из пятидесятих годов.

...Осень. Мозглый ветер рвёт платок с головы бабы Оли. Она, мать и он (Колоу увезли в Артыбаш к «мамастаре») на могиле отца. Земля не примялась, не проросла травой, холмик могилы бугрится комьями глины. Мать бьётся в рыданиях, распластавшись по глине под скосившимся, уже потемнелым деревянным крестом: «На кого же ты нас покинул, да как же я останусь без тебя с двумя ребятишками!» Баба Оля прижимает к себе его, испуганного, негромко причитает: «Вот меня не станет, и зарастёт дорожка к его могиле. Не зря он всегда пел: “Вот умру я, и никто не узнает, где могила моя”».

Обрадовался Виталия, что вспомнил, попереживал немного об отце и уснул. Не рвануло ему тогда грудину острой болью, не казнил себя жестоко, что забыл отца родного своего в его могильной бесприютности, оставил без сыновьева призора в последнем земном пристанище. Пришло это много позже. Оставшись в три с половиной года без отца, Виталий не сильно комплексовал по этому поводу. Был один случай, когда слово «безотцовщина» всё же резнуло по нутру. В пятьдесят девятом году Виталий пошёл в первый класс. В начале зимы выдавали бесплатно валенки как раз таким детям. Валенкам был рад, а словечко дохнуло ущербностью. А так жил, учился, книги читал, всё нормально.

Уже скончалась матушка, ушли из жизни близкие по обоим линиям родства, и ещё годов череда утекла, а вот к сорока буквально в месяцы что-то заворочалось в душе неудобное. Вот тогда он и зарыдал на материной могиле и кинулся искать отцову. Поздно кинулся — нет того кладбища, и места никто не помнит, записей и тех не нашёл. Пророчески пел отец...

И что же осталось? Хоть бы вспомнить всё рассказанное, услышанное, подслушанное о своих родных. И он выскрёбывал из потаённых закоулков памяти всё буквально, вплоть до случайно оброненных фраз. Так уже засвербило узнать свою родословную, о своих предках, хоть краешком души прикоснуться к их жизням и делам. Они жили, страдали, любили, рожали детей. Непросто жили, времена на долю родителей выпали ох какие тяжкие, не приведи Господь нам такое испытать. Куда кануло всё? Где, в каких небесных хранилищах сберегаются дела, поступки, события жизни, мысли и чувства предыдущих поколений? В сне каком увидеть матушку и, слезами омывая руки её, просить, просить, просить: «Мамочка! Рас-

скажи о своём детстве, о юности. Как ты жила, что чувствовала, что любила? Мне это важно, для меня это жизненно необходимо, это важнее всего!» Но мама снится всё реже и отстранённое. Не будет уж того сна.

## Отцов корень

Фёдор Иванович Конов рождения тысяча девятьсот тринадцатого года. Дед Иван с родовой приехал в Алтайский край в начале двадцатого века из европейской России, вроде из-под Тамбова.

Перед Первой мировой зажили уже справно: землицы немало имели, занимались земледелием, разводили коней; сытый табун гулял на вольных лугах. Как и где сгинул дед Иван, никогда уж не узнать. Да разве мало было возможностей сгинуть в те годы судьболомные: мировая, революция, гражданская. Стёпа, Федя и Груня остались при одной матери. Хозяйство большое, без мужика невпродых, — мать Ольга вышла замуж вторично, взяла в дом примака. Мужик оказался ушлый, быстренько добро начал к рукам пригребать. Чужие дети встряли ему костью острой поперёк заглущего горла, особенно Федька, пацанёнок характерный, непокорный. Отчим и в погребе держал пасынка сутками, и кнутом лупцевал до сыромятной задницы. Но не усмирил парнишку, а озлобил дотоле, что работники еле упасли хозяина от топора олютевшего Федьки. Напослед он и вовсе спалил баню и ушёл насовсем.

...Вечеру брёл Фёдор, умаянный, глухоманной таёжной дорожкой. На заимку. Чует, вроде топот конский сзади, да всё слышнее, сдвоенный. «Отчим с работником. Догонят — убьют». Живо скатился под вывернутый здоровенный корень невадали от дорожки, закидался травой, ветками. Стук кованых копыт громче, уж набатом бьёт в уши. И встали кони прямо против выворотня. Голос отчима, ненавистный: «Но, шалавые, чё встали!» «Хозяин, давай пошарим у дороги, кони его знают, поди, чуют». Федя омертвел. Это работник, гундосый Никодим, прихлёбывший хозяйский. «На заимке он, боле ему некуда деваться, там перевстренем. Да и темняет, впотьмах много ль нашаришь. Но, пошёл, пошёл!» Кони рванули, а Фёдор долго ещё лежал, обездвиженный от пережитого. На заимку не пошёл.

...Где отец жил до армии, чем занимался — толща времени укрыла то от сына. Подобно взбулькам воздуха из-под воды, выныривают обрывки рассказов родных о беспризорничестве, о найме в батраки. Урывки, обрывки, отрывки...

В тридцатые годы Фёдор Конов служил в Красной Армии, в Монголии, пять лет. Там и приключилась с ним беда, на третьем годе службы. Охраняли военные склады. Что там было? Оружие, обмундирование, продовольствие? Видимо, было нечто привлекательное, ежели напарник и товарищ Фёдора соблазнился. И начал исподволь, издалека уговаривать Федю ограбить склады и бежать. Тот отговаривал. Споры и уговоры окончились в одно из ночных дежурств тяжело для Феди и совсем трагично для напарника. Обозлённый неуступчивостью товарища и боясь разоблачения, Тимофей (так, кажись, звали его) в горячке спора рванул с плеча винтовку и всадил штык Фёдору в живот. Заполошно сбивал замки с дверей прикладом, чем-то набивал припасённый вещмешок, карманы шинели, к Феде даже не подошёл, кинулся во тьму, в степь. Был месяц май, ночами шибко холодало. От холода Фёдор пришёл в сознание, опять ушёл из него, вновь ощутил себя, иззябшего на стылой земле, подплывшего кровью. Ухватился всё же за мысль мутной

головой, что без помощи тут и умрёт, доскрёбся до винтовки, лёжа выстрелил. Не помнил, как приехали из части, прояснился в госпитале, уже оперированный. Два с лишком месяца койка не выпускала Федю из своих пружинных объятий. Переживал за Тимофея, товарищ тот был неплохой, да вот хапужничество сгубило. Беглеца через месяц приволокли на верёвке монголы, заросшего и начавшего дичать. Трибунал приговорил грабителя и дезертира, покушавшегося к тому же на жизнь часового, к расстрелу. После вынесения приговора поставили перед строем и хлопнули пулей в лоб. Фёдор поправился, дослужил и — прощай, Монголия! В этом случае он судьбу пересилил — не умер от потери крови.

На небесах прядутся нити жизней человеческих, сплетаются, вяжутся узелки, сворачиваются в узлы. Году эдак в тысяча девятьсот тридцать седьмом оказался Фёдор Конов на юге Кузбасса, в деревне Усть-Пазнас Кородеевского района, плотником колхоза «Заветы Ильича». Вот тут и завязался главный узел его судьбы...

## Материн корешок

Род Мамонтовых происхождения тоже зауральско-российского, не проследилось Виталием, откуда точно. В начале того, двадцатого, века много народишку потянулось осваивать просторы Сибири, в крови у русского народа жажда первооткрывательства. Правительство выделяло неплохие деньги на обустройство, проезд, прокорм. Облюбовали переселенцы глухие тогда места — верховья Томи, её приток, многорыбную и многоводную красавицу Кондому. В семье у Анастасии и Василия Мамонтовых всего рожалось десять детей, выжило шестеро. В те давние-давние годы русские женщины рожали просто и естественно. Марьюшку приспело выпустить в мир августовской порой, на жатве ржи. Чужая желанная увидеть белый свет, Анастасия взяла припасённый узелок со всем необходимым, ушла в лес, родила, обиходила ребёнка и себя, покормила девочку, положила под кусток и пошла дожинать рожь.

Анастасия Корниловна в семье верховодила, характером обладала властным, неукорным. А как было иначе: ртов много, только успевай поить-корми. Василий Алексеевич в противовес жене мягок был, ласков к детям, к тому ж рюмашку мимо рта усатого не проносил. Была раньше профессия такая — заготовитель. Вот им и был дед Василий. Ездил по деревням, принимал шкуры домашних животных, кости, дёготь, смолу, пеньку, рога, расплачивался бижутерией, мелким ширпотребом, галантереей. Работёнка и так не пыльная, разъездная, так ведь и загулять мог на недельку-другую Василий, оттого дома бывал редко. Тянула тяжкий воз многодетной семьи бабка Анастасия, ну, тогда совсем и не бабка, а красивая русская баба. Колхоз свою работу требовал неукоснительно, и приходилось детворе сызмала помогать по хозяйству и друг другу. Скот домашний напоить-накормить осваивали раньше, чем читать-писать. Через пласты времени, в седых годах, Мария Васильевна рассказывала сыну о своём детстве с горчинкой обиды в голосе, доселе не растаявшей, на свою маму, Виталину бабу Настю (все внуки звали её «мамастара», иногo не признавали).

...Зима. Раннее-раннее утро. Холодрыга за стенами избы, видать, страшная. Это зримо по молочно-белым студёным струйкам воздуха, кошачьей крадью вползавшим в открывавшуюся матью по каким-то надобностям дверь. Мать уже несколько раз будит Машу: «Марька, вставай». Но где набраться девчонке

духу вынырнуть из-под тёплого отца тулупа, от тёплых же сонных Мишки и Борьки, с такой нежно греющей кормилицы русской печи да на кусающий босые ноги холодом пол. В сонный туман отплывают чинящий конскую упряжь в свету керосиновой лампы отец и суетящаяся у печи мать. И оттуда, из пронизанного жёлтыми бликами лампы тумана доносится простуженный голос отца:

«Мать, да пусть доча поспит ещё чуток, рано ведь». Маша благодарна тятю, прижимается поближе к Борьке и готова уползти поглубже в мир сна. Ан было, да не тут. Верёвка с жёсткими узлами прожигает сквозь холщовую рубашку девчонке тело такой неожиданной болью, что Машенька мигом оказывается на полу. Кончилось ночное печное блаженство, пора заниматься делами. Жестка была мамастара, ох жестка. А как иначе при бесхарактерном, гулеванистом муже? Василий Алексеевич иной раз до того упивался где-нибудь у знакомого мужика в соседней деревне, что и лошадь терял, и немудрёный товар растаскивали. Тверёзый работник был хороший, безотказный, его прощали, убытки возмещал. Скучно жили, зато весело. Года за два до войны жизнь сильно пошла на улучшение: сельчане дома новые рубили, домашней птицей, скотом обзаводились в обилие, одеваться стали пригляднее. Места окрест красивейшие: тайга, горушки ещё невеликие — предгорье Шории; зверя, птицы полно, куда уж Швейцарии равняться с Шорией, разве только название на одинаковую букву начинается. В предвоенные годы юг Кузбасса бурно осваивался. В горах Шории нашли немалые запасы железной руды. До Кородеево дотянулась ниточка железной дороги, однопутка пока, она потянулась дальше, в Таштагол, там рудник открыли. А Усть-Пазнас, глухоманная деревенька верстах в тридцати с гаком от райцентра (да кто их считал, вёрсты и гаки!), жила таёжно-дремотной жизнью: сеяли рожь, лён, овёс, ловили рыбу, косили сено, воевали с тайгой, с неё же и прибыток имели охотой, грибами, ягодами, орехом кедровым.

Марья Мамонтова, рождённая в год смерти Ильича, на жатве, а записанная в загсе только в январе следующего, тысяча девятьсот двадцать пятого года, по занятости и безалаберности родителей, и по этому их упущению ставшая почти на полгода моложе, к тридцать девятому году претерпела извечное волшебное превращение из гадёныша-утёныша в лебёдушку.

## Играй, гармонь игривая

У Марии с Фёдором разница в возрасте почти двенадцать лет. Сейчас, в двадцать первом веке, такое непривычно, нынешняя молодёжь чаще женится близко по возрасту, а тогда, в тридцатые годы века двадцатого, а если вспомнить историю, то много раньше, муж почти всегда был изрядно старше.

Невзрачен Фёдор Конов: невысок ростом, худощав до худобы и взглядом неласков. Зато хваток в работе, ловок в драке — для селянина немало. Чем-то он зацепил же девку молодую. Чем? Опять прогал в воспоминаниях Виталия. Мария Васильевна однажды в разговоре об отце скупко обронила, что любила она парнишку Колю, позднее погибшего на войне. И сразу замкнулась, более о том ни разу не обмолвилась. Не развязанным получился любовный узел, а разрубленным. Коля ушёл на фронт, не познав женской любви, и исчез вовсе с лица Земли. Маруся вышла замуж не любя. Да, видно, стерпелось-слюбилось, а позже пришло настоящее чувство. Как бы ни было, а в тысяча девятьсот сороковом году, осенью,



после обмолота зерна, они поженились. Три дня деревня гуляла, до изодранных мехов гармошек. А то ж полдеревни Мамонтовых вместе с председателем колхоза, и Фёдор не из последних работников. Грамотёшки всего-то у него классов пяток, так армия чему-то подучила, природный цепкий ум тоже выручал. Считал до грамма на трудодень, в случае обсчёта вытрясал душу из учётчика и счетовода. В этом же годе молодые уехали жить в Кородеево. Фёдору тесно стало в глухой деревушке. Родня женаина шибко против была, колхоз препоны ставил, но в райцентре депо разрасталось, рабочие требовались неотложно, так и сложилось — уехали.

Тут кстати Виталию вспомнился смешной случай с его матерью, тогда тёмной деревенщиной, самой ею рассказанный.

Значит, приехали молодые в райцентр на шарабане (тарихтелка такая конная), супруг оставил жену на квартире у родственников Маши, где они сговорились снимать комнату, пошёл по делам. Маша поскучала и надумала прогуляться, давно не была в Кородеево. Она здесь училась в интернате: школы тогда в их деревне не было. С учёбой не заладилось, и не то, чтобы науки не давались, угнетала оторванность от родных, чужие люди, насмешки. Жалилась отцу: «Тятя, забери меня отсюда, мордва обижает». Тятя, восковый тятя с васильковыми глазами, махнул рукой: «Хватит девке и четырёх классов». С тех пор ни разу сюда не вырвалась. А тут, бают, диво построили — дорогу из чистого железа, хоть глазочком глянуть страсть как охота. Ходила, вспоминала. Много изменений: какие-то постройки появились, дома новые, райцентр разросся, а никакой железной дороги нету. Пришла в дом расстроенная, Фёдор вернулся, ждал её.

— Ты где была?

— Ходила железную дорогу смотреть.

— Посмотрела?

— Да нет, нету нигде её.

У Феди глаза стали знаками вопроса: «Погоди, ты где была?»

— Там-то и там-то.

— Так ты её дважды переходила!

— Кого?

— Дорогу железную.

— Да ничего я не переходила.

Федя забеспокоился всерьёз, уж не заболела ли жена. Когда же выяснилось, что Маша думала увидеть листы железа, тянущиеся до горизонта, и катящийся по ним паровоз в виде большой телеги, Фёдора Ивановича смех изогнул в дугу. Прибежали испуганные родственники, уяснив причину шума, хохотали до спазмов в животе. Глядя на них, и Маша не устояла.

Долго Фёдор подкузьмивал жену: «Пойдём железную дорогу смотреть».

Работать Конов пошёл в депо составителем. Маша пока сидела дома.

Накатился год Великой Войны. Морозы стояли ту зиму трескольдовые. Машу взяли в деповскую столовую помощником повара, дак навыв был — в колхозе на стане полевом кашеварила — ничего, ели — нахваливали. Теперь реже стала бегать в Усть-Пазнас. Скучала по дому, а пробечь молодым ножкам те гаковые вёрсты — дело плёвое. Отвьюжился февраль, а в марте у Фёдора опять пересечка с бедой вышла. Работа составителя опасна — постоянно движущиеся вагоны. Допустил промашку Фёдор, цапнул его вагон, потащил по снегу и щёбёнке, норovia подмять под себя, к колёсам. Фёдор цепок, ловок, да и жизнь на кону — не дал колёсам прокатиться по себе, но левую ногу изломало до каши из кости. Снова

больница, операции, перевязки... Выписался после майских праздников. Ещё день до дому, лежал-то в Сталинске. Переживал за свою, как он считал, ущербность. Врачи кости собрали, срастили, но нога укоротилась на несколько сантиметров. Мария о том не знала, была в больнице один раз с тёщей, Анастасией Корниловой, тогда трудно было перемещаться на дальние расстояния.

В укор сомненьям Маша встретила мужа, хотя ещё и не совсем мужа, не покажно радостно. А в конце мая они стали официально супругами. Закавыка в том, что сельсовет в прошлом году выдал справку о браке, а зарегистрироваться можно было только с шестнадцати лет. Что они и сделали.

Природную подвижность Федя быстро восстановил, но работать составителем с хромотой несподручно. Конов перевёлся слесарем.

\* \* \*

В Кородееве узнали о войне вечером двадцать второго июня. Весть та полосула подобно кнуту по живому оголённому телу; от резкой, ожидаемой, но сиюминутно неожиданной боли пошли волны реакции по тканям и мышцам организма. Марья Васильевна вспоминала, проживала снова день чёрный тот в восемьдесят пятом году, на сорокалетие Победы, и на что не добра была на слёзы, а весьма даже скуповата, её выразительные большие глаза, хоть уже остаревшие, вдруг плеснули избыточной влагой, подобно глубоко-немерянному озерку в обрамленьи тайги, сверх меры напитавшемуся затяжными дождями.

У здания райкома партии собрался стихийный полководнолюдный митинг. Бабий рёв колокольными ударными наплывами метался по-над посёлком. По окончании митинга мужики сосредоточенно расходились по домам; те, кому завтра уходить на Запад, — собрать сидора с харчишками, провести остатную ноченьку под родной крышей, и утром — прощай, семья.

Фёдора на фронт не брали — проклятая хромота, да и будь здоров — всё равно деповские рабочие (основные специалисты) получали броню. Полночи курил, от скрипа зубов желваки шатунами бегали по скулам. Утром, часов в восемь, Марья собиралась на работу, Федя давно ушел, застучали по крыльцу сапоги, и на пороге появился тятя, любимый тятенька её, улыбочивый, неунывающий и с редкими глазами поля, сплошь усеянного чародейскими васильками. Целуя, нащекотал щёки мягкими светлыми усами. Деревенские гостинцы, приветы, новости, — всё в куче, всё вперемешку. Тятя торопится: в девять надо быть на сборном пункте, а выехали ещё до света. Сашка, старший брат, двадцать первого года рождения, готовится. На днях, скорей всего, тоже туда отправится. Мать опять в тяжестях; к осени роду Мамонтовых будет прибыль. Спешит тятя, спешит, не допил чай, от водки отказался, ему ещё своих найти, определиться, записаться. Тут вот Машу шабаркнуло по голове понимание масштабов беды. Слёзы рванулись из глаз водой прорванной плотины вместе с голосом: «Тятенька, родимый мой! Тебя же могут убить. Не уходи!» Василий Алексеевич прижал дочку к выцветшей на груди косоворотке, усы стрекозиными лапками шевелили ухо: «Доча, ну что ты. Да ни в жисть меня не убьют. Я ещё внуков не нянькал. Рано мне умирать. Сынок вот скоро народится. А итти надо, война ведь». Оторвался от ревущей дочери, проскрипели ступеньки крылечка похоронным скрипичным аккордом под летящим шагом Василия Алексеевича. И всё. Проводил тот ступенечный скрип отца в последний путь...

В старости Мария Васильевна болела диабетом, плохо засыпала, чаще под



утро, и как-то Виталия раньше будильника разбудили звуки, странные, рвущие сон. Вскочил, бросился в комнату к матери — она лежит, разметав по лицу седые волосы, и лицо, и волосы мокры, рыдания нагужно рвутся из груди. «Мама, что случилось?» — полусонный Виталий в испуге — может, приступ. Мать давит плач, а он, непокорный, насильно сдержанный, прорывается обвалом. Сын гладит матушку по голове, по плечам, успокаивает. Ну, вроде отошла немного, слёзы вытерты. «Так что случилось, расскажи». И Мария Васильевна рассказывает сыну странный свой сон.

...Кородеevo. Утро двадцать третьего июня тысяча девятьсот сорок первого года. Она стоит в слезах, отца нет, он уже вышел, скрипят ступеньки, скрипят-плачут по только что прошедшему по ним человеку, по её тяте, пронзительно скрипят, заполняют голову, а она точно знает, что никогда не увидит отца, он растворился в войне под этот скрип.

\* \* \*

На работе Маша упростила, умолила отпустить её на проводы отца. Отпускали многих — первый эшелон с мобилизованными отправляли. Взапыхах на станцию прибежала, да не добежала. Океанище людской мельтешился, колыхался на дальних подступках к составу. Со всех ближних деревень, сёл, хуторов, заимок прибыли новобранцы. Гармошки, балалайки, бабьи слёзы, рёв детей, кой-где песни; платки, картузы, узлы... Маша, доселе и не выдавшая никогда такое скопище людей, стояла поодаль в растерянности: «Что же делать? Где тятю искать?» Издалека тягучей волной дакнул на уши паровозный долгий гудок. У эшелона суeta взметнулась высокой нотой криков, команд, женским истошным плачем. Из-за толп людских Мария не увидела, как тронулся состав, она его вообще не видела. Только сколько-то времени спустя из леса, куда втянулся эшелон, пополз на посёлок паровозный дым, да гудок всё гудел, теряя в силе, прощально по всем уезжавшим и всем остающимся. Машенька опустошена и отрешённа, одна только мысль скакала по голове: «Плохая примета, плохая. Тятенька ушёл на войну непровожённый. Очень плохая примета».

Дочь оказалась провидицей. Даётся, видно, дар такой редкий людям, сильно любящим. Не проводила она отца, и осталась вина на весь отмерянный срок жизни. С колхоза тоже не отпустили никого проводить служивых — работы навалилось разом неохватно.

Не доехал даже до фронта Василий Алексеевич. Эшелон разбомбили немцы в брянских лесах. А кровушка деда Виталиного никак умирать не хотела, уже питались наземные и подземные жители лесные кусками его тела, размётанного взрывом, появился на свет Божий последний сын, поскрёбыш Митька.

И еще умудрился дед Василий послать привет аж с того света своему старшему, Александру, на фронте, осенью сорок второго года. Но о том подалее.

Горе, горище — Война!!!

Станцию Кородеevo заколотило в лихорадочном ритме войны — эшелоны, составы, теплушки пугали тайгу придорожную тревожными вскриками паровозов и дробью колесной. Шория отдавала фронту, что имела: руду, пушнину, лес, мясо для армии и мясо для танковых гусениц и орудийных снарядов.

Первые месяцы войны в Усть-Пазнасе, как и по всей Рассее-матушке, не успевали просыхать платки, рукава и подолаы от слез бабьих и ребячьих.

Через неделю махнул прощально кепкой брат Машин старший. Саша, Сашок, веселый и сильный парень. Не повидались. В середине июля следующий, Иван, покинул избу родную на шесть долгих лет.

За Марьей в семье по возрасту опять шли пацаны: Мишка родился в 28 году, Борька — в 35-м. Разжижила мальчишек Ольга, в 38-м, и завершил череду рожденный Митька.

Уход основных работников придавил Настасью Корниловну, ан выдюжила — крестьянин русский гнуч да не ломок. Мишка подставил 13-летнее плечо и потащил по-мужичьи, замещая взрослых.

\* \* \*

Сентябрь во второй половине ухлестал поселок холодными дождями, а в столовской кухне тепло. Маша с напарницей Фросей чистят картошку, полнят третий таз.

— Марь, твои-то пишут с войны?

Они сидят на низенькой скамеечке, раздетую картошку бросают в большой алюминиевый таз, кожура каральками опадает в деревянную лохань.

— От тяти не было еще весточки, Сашок, брат, с дороги отписывал, и больше тоже ничего не получали.

Фрося старше, ей 20, за год до войны скакнула замуж, а нынешней весной Пашка ее, баламутистый парень, укатил на Дальний Восток по вербовке, обещал забрать, а тут война.

— А твой Павел воюет или все рыбу ловит?

— Да не знаю ничего, как в мае отписался, так и все, запропал.

— Марья Конова, на выход, — продравшись сквозь клубы кастрюльного пара, шлейфы печного дыма, шум и гомон кухни добасился голосище Пахомовны, заведующей.

— Марь, тебя кличут, аль случилось чего?

— Откуль я-то знаю, — а у самой курочкой всполошенной нечаянно заторкалось сердце.

Пошла как есть, в платке, туго повязанном фартуке и сапогах резиновых, только нож оставила.

— Может, с войны кто из братьев письмо прислал, а на работу-то почему, а вдруг.. ой, не приведи Господи.

— Тута я, Пахомовна, чего звали?

Заведующая худа не по голосу, резкие черты лица топором вытесаны из доски, в коже, да она и была комсомолкой-активисткой, но к подчиненным добра.

— К тебе из военкомата посыльный, вон у входа стоит, иди.

— Ай, батюшки мои, да чего там приключилось, неужели с тятьей беда?

Она больше беспокоилась об отце, зная его доверчивость и с ребяческих лет не изжитую бесшабашность. Шла, ступая по мокрому широкоплахному полу длинной кухни, там, за перегородкой, ждало скорее недоброе, чем радостное. У подбитой войлоком двери нетерпеливо топотил худой дедок, с напитанного влагой брезентового плаща капало, он в очках, на боку кирзовая планшетка. Строго глянул на подошедшую Машу поверх старомодных очечков, сползших по носу, и с заметными стеклами.

— Ты Конова будешь, Мария Васильевна?

— Точно, я Конова буду, а чего случилось-то? С фронта какое письмо?

— Я не почтальон, гражданка, а посыльный, ясно?

Полез в планшет, достал пачечку бумажек, карандаш, листки перебирал, нашёл нужную:

— Распишись, гражданка Конова, в получении.

— А чего в бумаге-то, скажите на милость.

— Надобно тебе явиться завтра в 8.00 в военкомат, а там скажут чего и как, подписывай.

Расписалась прямо на планшете в одной бумажке, другую — врученную, свернула пополам, ещё раз. Сунула в кармашек кофты, под фартук. В кухне, в их закутке, женское ожидание с тревогой. Пахомовна курила. Фрося привстала навстречу, рука с ножом к груди прижата.

— Маня, ну чего там, говори, не томи. Похоронка?

Заведующая обожгла пальцы самокруткой, сморщилась, смяла губожечный окурочок.

— Ну, дурища ты, Фроська. Похоронку домой несут, а не на работу. Скажи, Марья, чего получила?

Марья достала малый квадратик, протянула.

Свернула прямо как мужик заначку от бабы. Брови у заведующей подтянулись к переносице, читала с губным шевелением про себя, потом вслух:

— «В 8.00 явиться к заместителю райвоенкома товарищу Свиридову». Так, понятно, а зачем — непонятно. Ладно, разберемся. Давайте, девоньки, работайте, скоро смену кормить, а у вас картошка не дочищена.

Она вернула Маше повестку, повернулась уходить, что-то вспомнила, опять в разворот пошла.

— Пстой-ка, Марья, где-то я слышала краем уха, вроде ещё мобилизацию объявили, трудовую. Это что, тебя хотят мобилизовать? Упрут черт-те куда, а в столовой кто работать будет, кормить такую ораву народа? Нет, я тебя отобью, сама пойду к этому Свиридову. Ладно, всё, работайте.

До самого конца рабочей смены тревожные думки бредили душу Марии. В самом слове «мобилизация» слышалась угроза. И правда, могут увезти куда за Урал, оторвут от деревни совсем, от мужа, от всего привычного мира деревенской девчонки. Для неё Россия на запад, за Урал — другая планета, чужая, незнакомая. А деваться некуда — надо, война.

Устала, иссеченная дождем опостылевшим. Толкнула низкую калитку, а в их комнате ситцевые шторы освещены неярко светом, Федор дома.

— Маня, ну где ты ходишь? Я жду, жду. Устала, промокла, раздевайся скорее.

Муж помог разуться, снял мокрую жакетку, отнес к печи сушиться. На столе вареная картошка, хлеб и сахар, погребная солонина — ждал, приготовил ужин. Маша благодарна Федору, ему тоже достается. Федор Иванович жилист, вынослив, никогда ни на что не жалится, только кожа барабанно обтянула скулы, да тени обложили глазницы.

Сели ужинать, позвали стариков, те стеснительно отказались, отговорились сытостью. И не хотела Маша расстраивать мужа повесткой, а все равно придется, показала. Ей так нужна его поддержка, ободрение. Федор прочитал, молчал, лишь всегдашняя привычка гонять по скулам волны желваков выдавала напряжение.

— Федь, что молчишь? Может увезут меня за Урал.

Она сама себя заводила.

— А ты себе б...ку приведешь, вон сколько баб молодых осталось без мужиков. Федор сосредоточенно дожевывал картофелину, на ее последние слова сверканул запавшими глазами, но промолчал. А рука подрагивала, когда потянулся к подоконнику за кисетом. Сворачивал самокрутку, пустил вонючую струю, все молча, видно, обдумывал, как сказать и что ответить. А у Марии целнодневное переживание плесканулось слезой.

— Ну, чурбан, чурбан бессловесный.

Федор заговорил четкими, жесткими фразами:

— Мария, ты уже взрослая женщина. Должна понимать, что началась страшная война. Горя всем придется наглотаться. Раз тебя мобилизуют, значит, так надо. Мне днем по поселку стыдно пройти, в глаза бабьи и ребячьи смотреть. Я здоровый мужик и в тылу. Но так надо. А насчет б...шек я чтобы больше не слышал. Ты у меня одна, и мне никого не нужно, кроме тебя. Все, на этом закончим.

Закончили, бальзамом слова мужа пролились на душу, слезы быстро высохли, как промокашкой впитанные. Она принесла с половины стариков самоварного чаю, попили. Федя подбросил дров в печь, пора лампу гасить, завтра рано вставать. И были ласки с неистовством и снова слезы Машины, вроде на сей раз беспричинные, но обильные, как перед прощанием. Вещует сердце — недалеко уж то прощание ждало-поджидало.

\* \* \*

Не отбила Дарья Пахомовна свою работницу. Никак такое невозможно. Так и не увезли Машу Конову за далекий Урал, а предстояло ей обучаться на курсах трактористов здесь же, в родном Кородееве.

Вот теперь повспоминай, Машенька, слова собственные, детские: «тятя, за-бери меня отсюда» с попреком себе на малообразованность. На курсах собрали малолеток, девок, нескольких парней с физическими изъянами, для войны негодими. Теорию осваивали в подсобке МТС. Во дворе практика на «Фордах» двадцатых годов. Хоть бегом, Маша, стегай свой мозг над учебниками по тракторному делу, осваивай, приручай стального коня, даже если до войны из техники видела вблизи разве что конную сенокосилку. Меньше внимания обращай на руки пацарапанные и замазученные, им нужна закалка — предстоит и на морозе голыми крутить гайки, а уж кувалдой помахать, что доброму молотобойцу. Война, Маша, война, а значит, надо.

Покров, и первый снег пожаловал. Вечер поздний, в домишке тепло, кричат стариковски полешки в печи, им вторит дед Леша, дядька двоюродный, за стеной. Марья читает за столом у лампы, Федор лежит на койке, курит устало, устало вусмерть. На станции была авария, устраняли почти двое суток в неразгиб — вот это и есть вусмерть. До койки добрался, думал уснет пока голова будет клониться до подушки, а нейдет сон.

— Федь, ты б разделся, да и лег, спал бы.

— Щас, Маня, докурю.

— Федя, а нам два трактора пригнали. Сталинцы. Я читала про них. С-65, сильные, только кабины нету у них, холодно будет в морозы.

— А разве нельзя сколотить из фанеры хотя бы?

— Не знаю, а вдруг не разрешат?

Щенком, со сна пугнутым, визгнула ступенька крыльца, кого несет на ночь глядя? Кто-то возится в снях. Ища дверь наугад, чем-то стукнули. Маша напряглась — время военное, и гости могут быть нерадостными. В сенках, наконец, нащупали ручку. Из тьмы шагнула фигура, одетая по зиме, в тулуп, малахай, с мешком и ружьем.

«Тятя, тулуп его, и малахай, ой, что это я, тятя же на войне. Мишка это».

— Мишка! — скакнула Марья из-за стола.

— Братко! — сдернула с мохнатой, как сам малахай, головы тяжелый головной беличий убор. Целовала в холодные щеки. Мишка стеснительно уворачивался.

— Марья, ну дура, я ж не девка.

— Не девка, понимаю, вон какой парнишка вымахал. Мишка, а ружье тебе зачем, на войну собрался?

— Я же с обозом, вот и выдали для охраны.

Федор сломил усталую истому, встал: «Здоров, шуряк».

— И тебе здорову быть, Федор Иванович.

Вскипятился самовар, снесь собрали небогатую, деды вышли узнать деревенские новости. Мишка достал из мешка домашние гостинцы: сушеную малину от простуды, таежную. Мешочек изрядный ореху кедрового, туюсок меду, десяток вяленых хариусов. Особо гордился рыбой. «Мы с Борькой наловили». Обсказал новостишки, невеселы. Пришли похоронки на нескольких парней, о многих, и тятя, ни слуху, ни полслуху, как камешки в воду — бульк. Саша прислал письмо, поклон всем, воюет, Ваня на Дальнем Востоке, во флоте. Замрачнел Федор Иванович, заштормило скулы волной желвачной. Погиб дружок его довоенный, Петро.

— Ах, язви тя в душу, такой парняга сгинул. Тетка Лукерья, поскреби по сусекам, помянуть надо друга.

Поскребла тетушка, выскребла бутылку водки довоенной, помянули.

Спать Мишке постелили на полу, а укрываться — так лучше тятиного тулупа что ж может быть.

В конце октября закончила Маша курсы, вождение сдала хорошо, теорию — со скрипом, при ее четырехлетке тот скрип сойдет за фортепианный аккорд.

Трактор Маше выдали очень даже неплохой, СХТЗ-НАТИ. 38-го года выпуска, с керосиновым карбюраторным двигателем. И главное, у него есть кабина, без дверцы. Ну а кошмой завесить до плеча, и дело очень милое получилось. И керосин привычнее запахом. Возить определили трактористке Марии Васильевне, так ее завеличали, грузы со станции в депо и обратно в тяжелых листовенничных санях.

\* \* \*

Замелькали дни трудовые, похожи меж собой, будто пихты придорожные, без различий на будни и выходные. 7 ноября тоже трудился поселок таежный в обычном ритме. С утра только чуток митингнули у райкома партии. После праздника безжалная зима спихнула окончательно расхлюпистую осень с трона и самовластно захозяйствовала на просторах Сибири. И дальше длится вахта трудовая, только жестче стали лица людей — немцы обложили Москву. Ноябрь долистывал последние свои календарные денечки. С утра не ладилось у Маши в работе. Везла со станции станок большой, лопнула одна из скоб, скрепляющих продольную лесину с поперечной, сани перекашивались на ходу диагонально,

словно рот в кривой ухмылке, станок елозил по саням, рвя проволочные растяжки и норовя умыкнуться в сугроб, все ж довезла, разгрузили.

Потом заехала в мастерскую, слесари наново скрепили, проверили другие соединения. Ее с утра поташнивало, и слабость испариной влажнила лицо, продуло, видать. Не чаяла дожидаться конца смены. Моряки так ходят в шторм по палубе, как она шла домой. Слава Богу, Федор дома, он сразу заметил хворое состояние жены.

— Маня, ты заболела? Бледная. Давай помогу раздеться.

— Федя, тошнит меня целый день и слабость, я лягу.

Федор раздел жену, уложил, она вроде задремала. Вскоре и он лег.

А ночью у Маши началась сильная рвота, без пауз, с кровью.

Момент истины настал!

Ах, Федор, Федор Иванович! Рвани ты тогда в деповский медпункт, где круглосуточно дежурят врачи, вызови врача или фельдшера на дом.

Опытный медработник наверняка определил бы причину недомогания и выписал больничный лист. И растаял бы силуэт беды, уж проступающей у порога комнаты, на окраине света лампового. Да разве когда бегали по фельдшерам пахари русские при рвоте ли, аль головной боли? То-то, что не бегали. А тут война, разве можно по пустякам беспокоить лекарей, передуются, переможётся.

Вот потому и сыгралась сцена на бревенчатых стенах комнаты театра теней.

Маша свесилась с койки, блюет на пол и стонет. Федор в белых кальсонах, завязки змейками вьются, догоняя, с деревянной лоханкой и тряпкой к ней спешит, в двери заспанные старики, оба тоже в белом исподнем. Бабка Лукерья быстрее очнулась:

— Дед, ты чего столбом стоишь, беги в чулан, там корзина с травами, носи.

Дед засеменял. «Лучину зажгли, кого впотьмах сыщешь-то?» Федор взбодрил огонь в печи, дед принес траву, бабка сварила отвар, поили Машу насильно, у ней все обратно норовило выплеснуться. Наверное, подействовало снадобье, забылась Маша.

Ночь далеко перешагнула середину, когда угомонились. Только вроде закрыл глаза Федор, а по ним уже и по ушам, по коже заколотил молоточек настырного будильника, насильника снов. Он разбудил и Машу, она мокра потом и обессиленна.

— Федя, мне же на работу, сегодня какой-то важный груз везти со станции, а я не могу подняться. Что делать-то?

— Лежи, поправляйся. Я попрошу своего мастера, он позвонит вашему Шепилову, скажет, что ты приболела. Полегчает, завтра выйдешь. Тетушка, присмотри за Маней. Ну, я пошел.

\* \* \*

Через 40 лет Мария Васильевна рассказывала взрослому сыну о своей юности, трагично совпавшей со страшной войной. И о тюрьме рассказывала. Самые жуткие подробности, естественно, умалчивались. Но Виталий, к своим 30 годам тоже уже понюхавший в жизни не одни только ароматы, прекрасно понимал, что такое тюрьма в СССР в военное время для девчушки, из тайги выдернутой. Ну, так и с первой беременностью это лихо так лихо. Но мозг его напрочь отказывался понимать иные поступки своих родителей. Ладно, мать — пусть и замужняя женщина, прыгнувшая туда сразу из деревенского детства, но по возрасту, мироощущению



и опыту жизни подросток. Но отец! Взрослый мужик, старше и опытнее на бродяжьи годы и армию. Не догадались о беременности? Не читали, не слышали о жестоких законах во время войны? Вразумительно мама не могла ответить на этот именно вопрос. Смущалась, мямлила и уходила от разговора, меняла тему. Лежал потом долго Виталий, не спалось, ворочалось. Злость и обида росла на родителей и за родителей. На время тогдашнее жизнеломное, на войну проклятую. Заорать бы туда, в конец осени 1941 года, в Горно-Шорское отшибье Великой страны.

— Отец! Отец! Зайди в медпункт! Вызови врача жене своей и моей маме! Иначе ты ввергнешь ее в муки каторжные и позор людской.

Слаб голос человека, хоть жилы на шее порви от натуги — не докричишься сквозь такое пространство лет и километров. Постельное ворочанье перерастало в переживание, в душевное сопричастие к их жизни до него и пришло убеждение, что не надо туда кричать, смущать молодых Машу и Федора неведомым голосом незнакомого им человека. У них другая судьба и жизнь, их жизнь и судьба. Значит, нужно было молодой Маше Коновой пройти испытания, знакомиться смолоду, зато последующие годы прожила с доброй улыбкой, а житуха и дальше сложилась прямо по пословице «судьба-судьбинушка, всю жизнь кручинушка». Так испокон веку народишко на Руси и калится — из огня да в полынью.

\* \* \*

С мая 1940 года крутилась государственная репрессивная машина по наведению порядка на производстве в ожидании неотвратимой войны. Начальник Федора не позвонил Шепилову, закрутился, забыл. Попало крылышко птички между шестеренками — все, не вырвешься, размолотит. День тянулся для Марии в смутности, перемежая бредовые задремы с ясной головой. Но полной обессиленностью. Тетушка хлопотала около нее, пытаясь покормить, но она пила только воду холодную, из сенок, рвоты больше не было. Под нужду тетка определила ей ту самую лохань, что пугалась ночью от машинных желудочных рычаний. К вечеру полегчало, она стала ждать Федора, он обещал вырваться домой, а пришел Емельяныч, участковый. С ним еще один милиционер. Прогрохотал сапожищами прямо к койке больной.

— Здравствуй, Мария. Ты никак захворала.

— Да вот, Иван Емельяныч, рвало ночью и ослабла совсем, сил никаких нету.

— Ты это, Мария, врача вызывала?

— Нет, не вызывала.

— Значит бюллетеня у тебя нету?

— Нету.

Кромсало Емельяныча на куски — родом он тоже из Усть-Пазнаса, Машу знал соплюхой, с Василием Алексеевичем выхлебал немало «казенки», а долг и закон стеной иной раз вставали меж людьми. Разлад в душе выплыл на полное лицо багровостью, казацкие длинные усы навывтяжку спустились ниже подбородка.

— Дела такие, Марья, что если у тебя нету бумаги от врача, то я обязан препроводить тебя в кутузку.

Все же сорвался:

— Вы с Федором своим совсем ума лишились, придурки, едрит твою в подворотню. Не понимаете, срок тебе впаяют за прогул по военному времени.

Слуга закона уструнил в нем односельчанина, он оглянулся на милиционера у порога, снизил голос.

— На станции такой ажиотаж был — груз срочный везть, а тракториста нема. Кое-как нашли кого-то. Комендант приказал разобраться и наказать по всей строгости. Сама понимать должна — война. Ты встать-то сможешь?

— Да поди смогу.

— Тогда поднимайся и собирайся. Мухортин, организуй сани, а то не дойдет. Тетка Лукерья, помоги Марье собраться.

Деды стояли на привычном месте, в дверном проеме.

Маша вставала, собиралась, а потом ехала в санях под конвоем отрешенно. Не доходила до угнетенного болезнью сознания вся громадность беды, враз рухнувшей на нее.

Завтра ощутит тот груз, завтра, когда отступит немного хворь, когда опытные сокамерницы в подвале бывшего купеческого дома, приспособленного под маленькое КПЗ, расскажут знающе, сколько ей дадут сроку и что ждет на этапах да пересылках. И тогда забьется в дверь обжелезненную полный тоски и любви голос мужа:

— Маня, Манечка моя, где ты?! У, паскуда, расшибу вас, раскатаю! Пустите, дайте повидаться хоть, в гроба, душу мать вашу.

Загремел затвором охранник: «Мужик, уйди от греха, пальну ведь». Хмельной Федор пёр: «Ну стреляй, коли ты зверюга, стреляй, раз не понимаешь, что жену мою посадили по моей вине, и я повидать ее хочу».

И лег бы Федор Иванович на снег потоптанный с дыркой во лбу, или сел пятiletки на три за попытку нападения на охрану, да есть Господь на небе. Поселок маленький, на одном конце пукнешь, на другом носы морщат.

Недалеко был, видать, Емельяныч, подоспел, уговорил вызванного начальника караула не давать делу хода, увел Федора. А уж одна подследственная сказала Маше сочувствующе:

— Все, спежся твой мужик, мотанут ему срок на всю катушку.

Страх за мужа отодвинул тогда все другое в глубины сознания. В камере слышно было, как Иван Емельянович помороженным басом уламывал конвойного начальника, как потом тащил матерящегося Федора. Облегчение разлилось слабостью, а следом случилась истерика, заколотилась женщина головой о стойку нар: «да и что же я такая несчастная», и «пропала бедная моя головушка». Излиться до конца причитаниям не позволила бывалая зэчка, воровка-гастролерша. Подошла, сгребла Марию за еще не остриженные, до плеч русые волосы.

«Пасть схлопни, п..., без тебя тошно. Другим по червонцу светит, не воют, подбери слюни».

Опытные зэки — прекрасные психологи, зло, грубо, но подействовало успокаивающе, безотказно. Да ведь и крепка крестьянская порода памятью суровой жизни сотен поколений воинов и хлебопашцев, и уже через день Мария не дрогнет лицом, когда пожилой судья в маленькой комнате зачитает приговор:

«Именем Российской... во исполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940... за прогул в военное время приговорить к 4-м годам...»

\* \* \*

Заклученная. Ты уже почти привыкла к двухдверной параше, к крикам, дракам сокамерниц, к тюремной баланде. Нет, рано так говорить, кормили здесь снос-

но. Впереди настоящая пайка тюремная, военная, здесь захохотеть угла медвежье-го, и нету в наличии настоящих уркачанок и натасканного конвоя. Впереди этап до Сталинска, там пересылка, снова этап в тюрьму Мариинскую, царской постройки, с березкой на стене. Вот на этапах да пересылках хлебнешь ты горького горстями полными, да с переливом. Швырнула война крестьянскую молодайку из быта сельского, патриархального сразу в гнездилище зла и порока. Ничего, выжила.

Не ходила в укромный тамбурок с конвойным, хотя голод грыз желудок, и тот, о ком не догадывалась, тоже требовал пищи и сосал, сосал соки слабеющего организма. А солдаты предлагали целую пайку хлеба (!) за утеху тельную. Так глаза мужнины и материны надзирали незримо, но упорно, и мораль народная многовековая преградой стояла. За то и получала прикладом по спине.

Покачивало при ходьбе заключенную Конову, когда через месяц прибыл этап в Мариинск, по гулаговским военным меркам быстро.

\* \* \*

Отстойник — огромная камера, откуда рассортировывают заключенных женщин по срокам, статьям и дальнейшему следованию. Махорочный дым многослойной облачностью затянул пространство замкнутое, баланду в алюминиевых мисках выдали, а ложек нету, хлебайте через край. К углу, где вожделенная параша, очередь в три ряда, блатнячки и здесь впереди всех, многие, не выдержав нутряного давления, пристроились по углам, их бьют, вонища, крики.

Трое суток как три месяца в памяти отложились. Маше оставалось добраться до женской зоны здесь же, на окраине города. Врачебный осмотр. Кабинетик, сеньский, сухонький, как былинка, врач-старичок, в пенсне. Раздеваться обязательно догола, здесь же, в другом углу, два офицера.

Сеньский долго слушал, щупал, обстукивал Машу, поднял глаза, на диво голубые, снял пенсне:

— Голубушка, вы же беременны!

Наверное, увидел Марусины глаза со стекла пенсне, добавил прямо радостно:

— Да, да, всенепременно беременны, вы уж поверьте старику. Какая у вас статья? Выслушал ответ, покивал с кулачок головой:

— Указница, это хорошо, что указница.

Потом он беседовал негромко с офицерами, доказывал, горячился, те спорили. Не соглашались, Маша их не слушала, одевалась, думала: беременна! Вот отчего живот иногда болел, опять тошнило и кровей женских нету уже давно. И постоянно есть охота, вроде никогда обжорой не была, а тут прямо какой-то рот ненасытный в утробе завелся и орет: «Дай пожрать». Выходит, рожать в лагере придется, и как тут с дитем быть, заберут его или с ней оставят? Вопросы, вопросы. Наконец, один из офицеров подошел к ней:

— Ладно, доктор, только напишите заключение и на подпись хозяину. Шагай, Конова.

Пошагали по коридорам и переходам тюремным. Здесь ключ с полруки длинной противно скрежетал в замке, тяжелая дверь подалась тяжело. «Заходи». Большая камера, темновато, оконце в две ладони вверху, исчеркано решеткой, вдоль стен двухъярусные нары, узкий проход. С верхних спрыгивали, с нижних вставляли женщины, взгляды цепкие, оценивающие. Маша стоит у длинного стола, у нее и на ней ничего из надетых дома и переданных Федором вещей не осталось — что

отобрано, иное поменяно. Неужели позарились на подшитые мужские бурки, фуфайку не салом засаленную и плешастую собачью шапку? Аборигенки обступили, уже ощупывают, пока молча. В дальнем углу шевеленье громкое, по проходу поплыл ледокол, гоня воздушную волну поперед себя ведерными титищами. Подплыл — знатная бабища, пудов на десяток.

— Ша, коблухи, че пацанку облепили, как мухота.

Та, что ощупывала фуфайку, с наколкой на правой кисти, оскалилась фиксато, хотела возразить, огрызнуться.

— Я сказала «ша» и глехни, а то секель вырву и в хлебало забью.

Сказано угрозно, но голос звонкий, чистый, таким голосом хорошо на сенокосе или в лесу перекликаться.

«Мухота» разбрелась недовольно.

— Ну, рассказывай, откуда такую девчоночку задуло в наши терема?

— Из Усть-Пазнаса, я, Кородеевского района.

— Это где такой район?

— В Горной Шории, за Сталинском.

— А, слыхала. И за что же мусора замели красавицу из Шории?

Ответ заучен: «По указу от двадцать шестого шестого сорокового, срок 4 года».

Глаза у ледоколихи и вовсе не злые, черные, быстрые, искривые.

Так Маша познакомилась с Феней Таратуйкой, Фенечкой.

Старая, Мария Васильевна все чаще вспоминала добрым словом и слезой подругу свою тюремную. Чем-то глянулась тогда сразу деревенская молодуха зэчке закоренелой. Закоренила ее, точнее, оболочку плотскую жизнь тюремная, а душа осталась чистой деревенской бабы.

\* \* \*

Жила она с мужем да двумя сынами малыми севернее Томска, хлебопашествовала. Весной, аккурат перед севом, в 1932 году, шум ночью учуяла во дворе, чуток сон у ней с детства, со страшной Гражданской войны. Не будя усталого мужа, в рубашке ночной, тихо вышла во двор, дверь конюшни чуток приоткрыта, вроде свет там, она туда, а там двое лихоимцев коня единственного обратывают, уводить, значит, удумали. Ах, это что же вы, ироды, кормильца нашего умыкаете! В общем, огневалась баба, друг об дружку воров постукала, как стаканы под тост, потом дрючком помолотила, да, видно, лишку — померли, бедолаги. Шесть лет заработала. Так она бы должна уже освободиться? Ну да, должна, кабы не характер неукротимый. В Новосибирской пересылке блатнячки вознамерились подраздеть ее, тогда необтерханную, пришлось потрепать ретивых. А одну, самую резвую, с ножом, сунула головой вниз в парашу здоровенную, ведер на десяток. Там дерьма и мочи чуть не до края, одни ноги повыше колен дрыгались, будоража ароматы. Пока дубаки бегали вокруг, брезгуя, пока зэчки вытянули, резвая задохлась, не откачали. Пятерик Фене накинули, в лагерь не отправляют, там ее зарежут, оттого и кантуется в тюрьме.

\* \* \*

На другой день Марию опять повели к врачу, тому, в пенсне. Он еще раз осмотрел, назначил анализы сдать и попросил обсказать обстоятельства преступления.

Сказал, что если анализы подтвердят, он будет ходатайствовать о пересмотре дела или амнистии, так как нет состава преступления. А пока он прописывает ей усиленное питание. Дай Бог ему здоровья, Савватею Апполинарьевичу, ну и имячко кувыркастое для языка.

С Феней сдружились быстро и накрепко. Бывает же так. Феня и старше, ей далеко за 30, десятый годок почитай скитается по тюрьмам, душегубкам, а не осквернилась сама душой, вот только воровок-блатнячек не привлекает. И что же потянуло ее к женщине-девчонке малограмотной, может, материнство нерастраченное?

Спали рядом, греясь. Камера эта была обслуги тюремной. Савватей Апполинарьевич добился оставить Машу здесь, неизвестно, как бы у нее сложилось в зоне женской, там порядки куда жестче. Работала Мария подсобницей в тюремной столовой, Феня поварила, и за Машу делала тяжелую работу. Голодна жизнь в тюрьме в войну, контроль за продуктами жесточайший, уворовать и съесть что-либо практически невозможно, пекли картофельную кожуру на плите, то и был приварок, да Маше давали кубик, со спичечную коробку, масла. А ничего, выживали. Текла жизнь тюремная, росло пузо незаметно для тела, да ощутимо глазу. Весна пришла. Во второй половине апреля, 16 числа, Марию Конову амнистировали по беременности. Ночь перед разлукой подруги проговорили и проплакали. Пока сидела, не задумывалась Маша, как на нее будут смотреть на свободе, а тут вдруг прямо душа изнылась.

— Фень, ты вот скажи, как мне на волю выходить, все же будут пальцем тыкать, мол, зэчка идет.

— Маня, ну ты дура девка, право слово, ты сидела по ошибке и по собственной своей глупости деревенской, — засмеялась, — вдругорядь умнее будешь.

— Всем же не обскажешь, что по ошибке. Скажут, люди воюют, работают, а ты по тюрьмам отсиживаешься.

— Вот им бы так отсидеться, у параша. И что ты заладила — люди, люди. Мало что ль народу пересидело, и никто им не тычет. Вот я через полтора годика освобожусь, домой приеду и глаза в землю не спрячу. Я так тебе скажу: приведишься другой раз, и опять бы ухайдакала тех конокрадов. Диво дело: им коняку пропить-промотать три дня, а мне детишков своих чем кормить? Счас уж большие, свекровь пишет: старший в колхозе работает, а Ваня мой две медали получил, танкистом воюет. Ты скоро Федю своего обнимать будешь, а мне когда доведется к Ванечке прижаться! Ты так и не написала Федору?

— Да теперь уж скоро увижу. Маме писала, а ответа не получила.

Прощались утром. Плакала Маша, а как рыдала Феня, суровая с виду баба, гроза воровок. «Маня, Манечка, подружка ты моя сердешная, не свидимся мы с тобой боле на этом свете».

— Ну что ты, Феня, я приеду потом к тебе в деревню.

Феня ужимала ее голову в теплоту и мягкость громадных титек:

— Ты уж не забудь меня, бабу дурную, отпиши хоть словечко с воли, обскажи, как жизнь твоя сложится, кого родишь.

Захлопнулась за спиной Маши дверь железная, тюремная, кабы навсегда.

\* \* \*

Предчувствовала, возможно, Феня свою судьбу. Маша несколько раз писала ей в тюрьму, как на тот свет — нету отклика.

В 1953 году Маша в Сталинске встретила на улице бывшего тюремного опера, не помнила фамилии, а в лицо узнала. Тот вначале шархнулся от незнакомой женщины, потом вспомнил, разговорились. Тогда только узнала Маша о страшной судьбе подруги.

Буквально через пару недель после Машиного освобождения дернули Таратуйку на этап, куда, зачем, он не знает. В этапке ее и зарезали ночью, во сне. Закололи в сердце, а потом оголили низ, задрав одежонку на лицо, и воткнули заточку во влагилице. Так утром и обнаружили. Отомстили блатные, а кто конкретно — не дознались, особо и не старались.

Прости, господи, прегрешения рабы твоей Фенечки и прими ее в царствие небесное.

\* \* \*

Неделю добиралась до Сталинска, сутками жить на вокзалах — обычное дело военных лет, еще три дня до Кородеева. Еще вспоминала словом добрым Феню, припасла подружка пайку свою хлебную за три дня, Маше отдала, да своя однодневная, тем и питалась в дороге. Немного подкармливали молодку с животом люди сердобольные, а кипяток на вокзалах всегда есть. В Кородеево поезд притащился поутру. К домику шла проулками, клеймо зэчки, казалось, выжжено на лбу. Дома одна тетка Лукерья, хворая лежит. В задреме вздрогнула от скрипа половиц: «Ой, хтой-то тут?» — узнала и сразу слезу уронила:

— Марьюшка, да откуль ты взялась-то, родимая? Мы не ждали, ты не писала, не чаяли тебя повидать-то.

— Освободили, тетя Луш, по беременности.

— Дак я уж и вижу, пузо на нос лезет.

— А дядя Леша где же, не видать?

— Работает дед, сторожит чево-то, позвали, он и пошел, карточки получает рабочие, без них, на иждивенческих, худо совсем.

— А Федя мой как тут без меня? По бабам не таскается?

— Окстись, Марья, какие бабы, работает, не кажин день ночевать домой приходит. Счернел лицом, переживает за тебя, себя виноватит. Ой, да что я лежу-то, дура старая, надо бы тебя покормить с дороги, ан и нечем шибко. Счас я встану.

— Лежи, тетя Луша, я сама посмотрю.

— Там картоха в мундире должна остаться, поешь.

Поела Маша холодной картошки в кожуре, с сольюцой объединение после тюремной баланды да дорожной шибкой недоеди. Надо бы с дороги отдохнуть, тяжело стало живот носить, уже и прицелилась к койке, кольнуло в сердце: надо в Усть-Пазнас сбегать, своих проведать, когда еще доведется. Собралась, как тот голый, которому только подпоясаться.

— Тетенька, я к своим в Усть-Пазнас схожу, дня через три буду.

Лукерью будто хворостиной с постели согнали:

— Да батюшки-светы, ты в уме ли, девонька, с животищем таким по тайге мотаться. Ребятенка ведь порастрясешь, остепенись.

Маша, не дослушивая, вышла в сени, за порог. Она шла не дорогой санной, тележной, а таежной тропой, короче там, и наст еще держит, хотя подтаяла тропинка, осела, местами хлопало, заливало в ботинки кирзовые, а кой-где, на взгорюшках, и вовсе снег сошел. Хорошо в родной, с детства хоженной тайге, и день



погожий, солнышко светит в выси небесной, птицы поют-хлопочут. Переоценила все же таки силы свои Маша. Постоянные недоеды за двоих сказываются, несподручно пузище тащить по валежинам, раза два отдыхала на сушинах, снежок смерзшийся с льдистой корочкой сосала, пытаясь голод обмануть.

К родимой калиточке, покосилой без хозяйского догляда, вышла по темну позднему. Сенки, дверь в избу привычно нащупала, открывает. Мать на кортках у печи ворошит кочергой угли, по рукам и низу лица мельтешат темно-красные пятна печных бликов, остальное очертанием в отдаленном свете лампы, прикрученной экономно до малого светляка. На вскрик двери повернула голову, узнала ль сразу, угадала ли, скорее сердцем почувала, с охом села на пол, не плакала, умела ли вообще Анастасия Корниловна плакать, странно, коротко взывала. А Маша обильно влажнила плечо матери. Так сидели мать и дочь, почти во тьме, лишь левую руку Машину сполохи из непритворенного зева печи багрили кровью, так изливали свою любовь и сострадание, горе и надежду. Да и то — столько напласталось всякого в жизни за такой короткий отрезок времени, будто годы тяжкие прожиты.

Ну, угомонились маленько, надо же и покормить дочу, да чем шибко разугощаешься, той же картохой в «одежке», весна, пока снег — самое голодное время в деревне, скорее бы трава в рост пошла, колба, чеснок дикий, ею детвора и прокормится до ягод с грибами. Выложила все ж таки лакомство мама, пласточек сберегаемого на случай такой сала в тряпочке, в сенях холодных хранимого. А хлеб горчит сильно, туда хвою пихтовую подмешивают, обманную сытость придает, и опять же от цинги оберег. Хороших новостей почти нету. Об отце ничего, и от него тоже, Саша воюет, был ранен, награжден орденом, хотят направить в училище, на офицера выучится, Ваня во флоте, сторожит япошек.

— Дочка, ты с тюрьмы да с дороги знать и не мылась. Давай-ка я воды взогрею, ополоснешься. В корыто-то сейчас не залезешь целиком, большая стала, а помнишь, как я тебя махонькую в ём купала?

— Знаю, мама.

— А все ж ты шалая девка, одна по тайге, а вдруг там какие дезентиры али медведь-шатун, да и рысь ныне голодная, нападает на людей, а ты с энтим пузищем.

— Да ну, мама, какие дезентиры, а медведей и рысей не видела. Я об вас заскучала.

Споровила Корниловна помывку. Пока дочка отмывала частями тело, заскорузлое от грязи дорожной, Анастасия поближе к лампе перебирала тюремную одежку. То ли поблазнилось ей, то ли взаправду шапка лезлая собачья шевелится сама по себе. Прибавила свету, взгляделась: точно, полчища вшей колыхают уборину. Ну, этим Анастасию не удивишь, в Гражданскую и позже доводилось зреть тифозных под сплошным покрывалом насекомых, правда, с тех пор не водились у них. Вот так война и вошь всегда об ручку ходят. Шапка, а вослед и другая одежка, окромя фуфайки, ту потом на остатний снег выкинет, полетели в огонь, печка радостно приняла топливо. Шапка затрещала сухим горохом по стеклу, вши так лопались, сгорая.

Марья помылась, вытерлась домашним рушником, шарь-пошарь одежки — нету. Мать выходит из родительской половины с лучиной, в руках ворох. «На вот, одевай, мое, девичье, сколько лет в сундуке пролежало, а сгодилося».

— А мое-то где?

— В печке, у тебя там вши табунами ходили, спалила и чтоб дорожка в тюрьму не проторилась. Давай-ка голову намажу.

«Хорошо, хоть документы в Кородеево оставила», — думала Маша, подставляя голову под жесткие материны руки, пахнущие резким снадобьем. Потом Анастасия покрыла ее русые коротко стриженные волосы платком, туго завязала.

— Ну и хорошо, что спалила, я в этой эковской одежде будто голая на базаре.

Спать Маша полезла на родную печку, с краешку уместилась животом от беспокойной во сне Ольки, как в детстве утянув на себя часть все его же, тятиного тулупа, ближе к стенке сопел Борька. Митька в люльке с подкачкой смотрел безмятежные детские сны, Мишка за занавеской, на широкой лавке. Завтра, завтра, будут объятья, восторги, когда проснутся братья и сестра, сейчас спать, умаялась невмочно, спать счастливо — она свободна, дома, среди родных людей, беды позади.

А назавтра оказалось — Первомай. У сельсовета председатель колхоза сканзнул небольшую речугу и вперед, колхознички, трудиться, после войны будем праздновать, потом. Мать и Мишка ушли спозаранку, до митинга. Борька за старшего оставался. Три дня побыла Маша под родной крышей, помогла матери по хозяйству. За год войны деревня стремительно обнищала. В 1940 молодежь и не знала, что за обувка такая — лапти, а теперь полдеревни в них щеголяют, нормально, главное, ноге удобно. Из одежды преобладают вещи самотканые, из грубого холста, привычнее и долговечнее, так и до войны многие одевались.

Пора отбывать по месту жительства и прописки. В Кородеево вернулась на подводе попутной, ехали целый день по грязище и снегу, удивлялась на себя, как примчалась сюда пешком.

Дома хлопоты закружили: надо отметить в милиции, восстановить прописку, получить карточки продовольственные, пока иждивенческие. На второй день с приезда забухали вечером сапоги по крыльцу, шарахнулась дверь в испуге перед рвавшимся человеком, Федор встал в проеме, ватник замазученный, кепка в руке, вторая в грязном бинте. Зачернелое обугленной головней или непромытое лицо. Маша только прилегла после мытья полов. Он так и прошел, с глиной на сапогах, присел у кровати, уронил лицо ей в ноги, говорил глухо, как с удавкой на шее:

— Марусенька, милая моя девочка. Настродалась, намучилась, бедная. Прости меня, это я виноват. Но я больше никому никогда тебя не отдам.

Он поднял голову, по-рысиному горели глаза, сухие, на темном лице.

— Слышишь, никому.

У Маши от давно не слышанных слов любви и ласки поплыли зрачки от слез. Нюня стала, что ли, на этапах под ударами башмаков блатнячек не мокрила глаза, а в родных местах чуть не кажин день слезы.

— Ну, что ты, Федя, все хорошо, все обошлось.

Кончался май, роды у Маши начались в огороде. Пока услышала крик тетка Лукерья, да еще надо старой сообразить, что делать, и куда бежать, пока поспешала достать подводу, Маша произвела на свет мальчика, мертвого.

Все в мире злое ополчилось против души безгрешной: суд, тюрьма, страхи, переживания, голод, а неделю всего назад Маша ощущала его шевеление в животе, толчки, чувствовала желание сына появиться в мир. Хлестанула еще одна беда Коновых по живому, к боли чувствительному. Федора отпустили на похороны, дед Леша сколотил гробик, закопали младенца на местном кладбище. Дядька с Федором напоминались самогоном до изумления, Федя плакал пьяный, материл себя в «гроба мать», вина в смерти сына.

Надо жить дальше, у всей страны вон какое горище, а народ живет и работает. Днями Мария вернулась к своей тракторной работе. Встретили нормально, а на-

чальник станции уже другой, прежний, требовавший «разобраться вплоть до...» ушел на фронт. Ушел воевать и Емельяныч, душа-человек.

\* \* \*

Сорок второй, самый мучительный год, плелся жилотянуше нескончаемой трудовой вахтой без выходных, отпусков и праздников. По ранней, погодистой осени, когда собран и сдан урожай колхозный, а надо еще платить государству денежный налог или рассчитываться мясом, шерстью, салом, с себя, что ль, его содрать, едва-едва матушка Анастасия не загремела в лагерь. Скопились у жителей Усть-Пазнаса долги, недоимки, собирать недоданное казне приехал фининспектор. К Анастасии Корниловне пришли, когда пастух коров пригнал с пастьбы, подгадали. Она как раз собиралась доить, с подоиником вышла из избы, закатище в половину неба кровенил облака и верхушки пихт. Ольга с бесштаным, но в рубашонке и соплях Митькой играли на травяном холме погребца, Борька у стайки ладил удочку, Мишка не пришел еще. Сухо, тепло. По улке шли трое. По центру мужичонка невеликий, слыса немного, в полувоенной гимнастерке, сапогах с глянцем, при портфеле и фуражке в руке, по бокам свои, деревенские из правления, понятыми, должно. Их хорошо видно через редкие жердины городьбы. «По мою душу», — сразу угадала Анастасия, губы сжала в нитку. Ей Данила Иванович, председатель колхозный и брат двоюродный, говорил, предупреждал, что за неплату могут свести корову. Не верила, не могла поверить, а вот пришли. Ребятя деревенская недоброе чует подсознательно, а тут начальник, с портфелем, значит, к худу. Пришедшие еще и до калитки не дошли, а дети сбились к крыльцу, ближе к матери. Борька с Ольгой супились, подражая мамке, лишь Митька по малолетству лыбился незаботно. Фининспектор, едва войдя и завидя Настасью, на ходу полез в большой, двухзамковый портфель, одной рукой достал листы печатные, подошел к крыльцу шагов до двух, понятые немного приотстали.

— Вот и хорошо, что вы дома. Я так понимаю, Мамонтова Анастасия Корниловна вы и есть?

— Я и есть.

— Я вам зачитаю постановление...

— Без надобностей, ты скажи по-простому, корову забирать будете?

— Да, будем, — опять полез глазами в бумаги, — но и тогда вряд ли будет погашена вся задолженность в сумме...

Анастасия, не слушая дальше бумагомарателя, сошла с крыльца, мимо Таньки-учетчицы, мнущей от стыда угол платка, мимо Емельяна с бунтом веревки на плече, захватил рога вязать корову, вскоре вышла... с топором. И напрямик к троице, немо смотревшей. По пути Корниловна толкнула босой ногой чурку нешкуренную, та перевалисто подкатилась прямо к сапогам с пылью на глянце. Ни инспектор, ни понятые не испуганы, они пока не понимали, что замыслила хозяйка, а Корниловна подошла почти вплотную к низкорослому фининспектору:

— На! На, руби мне голову! А потом им, — слова словно в ужасе отскакивали ото рта, с такой надсадой их вытаскивали изнутри, и они пахли кровью.

— Бери, бери. Корову все равно не отдам. Попробуешь забрать силой, тебя зарублю.

И — топор у лица уполномоченного товарища облит кровью заката.

А его лицо выбелилось бумагой и пот забисерился на переносице. Однако выбелишься не только лицом, прямо перед глазами узря матово кровенеющее ши-

рокое лезвие, а за ним лик бабы с резкими чертами и очагами черного пламени в глазных гнездах.

— У меня трое на фронте, а этих троих ты кормить будешь?

Правда здесь и голая, и босая, да и конечная. В деревне с малыми детьми без мужика в лихую годину страшенной войны, да еще без коровы — проще сразу повеситься на нижней юбке, а детей пусть тогда кормит государство. Другая правда не менее весома. Надо кормить воюющую армию, и неподчинение представителю государства опять же в условиях той же клятой войны тянет на долгий срок. И загремела бы колхозница Мамонтова, но есть все же справедливость на свете, хотя и в малых толиках. Наверняка слетал кто-то из соседских огольцов до председателя, и явился Данила прямо жизненно вовремя. В хряпящей задышке от бега хлопыстнул досками калитки. Картина уголовно наказуемая явилась его растревоженным очам. Анастасия топор от носа инспектора убрала, но из рук не выпустила, так и стоит насупотив представителя власти, тот в бледности и испарине, фуражечку обронил, двумя руками портфель в грудь давит, понятия в сторонке в землю глядят, у крыльца ребятишки нахохленные. При виде топора у полнотелого председателя седеющие кудри задыбились.

— Настеха, варначка, ты чего это вытворяешь? В тюрьму захотела?

— Товарищ Фефелов, дорогой, простите дуру-бабу, это у ей от переживаний умишко повредился. Пройдемте в правление, товарищ Фефелов, мы там все вопросы решим.

Фефелов вроде хотел поупрямиться, но Данила настойчив.

— Да точно решим, — и потише и ближе к уху, — оплатим недоимки, колхоз оплатит.

Наверное, уполномоченный рад был такому повороту дела, уйти поскорее от лютой бабенки, а об понятых какая речь — кому охота быть участником раздора соседки. Председатель вежливо-настойчиво вытягивал Фефелова на улицу, фуражку его подобрал, но и родственницу приструнить надо перед начальствующим лицом, обернулся к все стоящей у чурбака Анастасии и с назиданием и угрозой сказал:

— А с тобой, Мамонтова, мы потом будем разговор иметь, очень серьезный.

Сам-то тоже Мамонтов и родня, а были трения в гражданскую и после, но те угли золой затянуло, а вот сейчас сверкнуло. Ушли и зрители из соседей. Анастасия бросила топор в траву, села на чурку, не остывшие глаза, не отошла еще. Ребятенки ее встали рядом, понимают горесть всю ситуации, серьезны не по-детски.

Откушали председатель с фининспектором в правлении крестьянского хлеба-соли, понимай — скромное застолье с четвертью чистослезного самогона, отпотевшей с холодка (эх, да у вас, товарищ, и рот что створка неких амбарных ворот). Председателю какой же резон терять работающую колхозницу, так ведь и мужики ее с войны придут, спрос будет жесткий, вот и оплатил колхоз часть недоимки, часть немалую Данила Иванович из своих кровных покрыл, крохи остались недоданы. Ну, то уж реквизицией не грозит. Хороший самогон гнали в Усть-Пазнасе, даже финансовых инспекторов умиротворяет, не то гноиться бы Корниловне где-нибудь в Воркутинских лагерях.

И коровушка, член семьи, кормилица и поилица, кому отдают по весенней бескормице распоследною краюшечку, осталась дома.

Зима 1942–1943 годов запомнилась Марии Коновой как самая голодная. Рано подьели огородный урожай, старики хворали, деда Леша работать больше не мог,

карточки получали иждивенческие. Маша и Федор подкармливали. В деревне голод иссасывал тела ребятишек. Неизвестно, как выжила бы Анастасия Корниловна с семейством, кабы не рыбалка. Мишка с подростком Борькой освоили подледную ловлю, вот рыбой и спасались, даже кое-что меняли на часть улова.

Хорошо помнит Мария Васильевна сообщение ТАСС о победе под Сталинградом. Помнит, как осветлели людские лица, сколько радости было, впервые после первых, пораженческих лет. Даже здесь, в глухой провинции, на окраине великой страны народ понял, что победа не за далекими горами. Хотя горького похлебать предстояло и еще впересыт...